



Все так умирают?



**Павел В. Гринберг
Наталья Семеновна Кантонистова
Все так умирают?**

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9813978

*Все так умирают? / Кантонистова Н. С., Гринберг П. В. – 2-е изд., доп.—М.: Языки славянской культуры, 2013.: Языки славянской культуры; Москва; 2013
ISBN 978-5-9551-0665-6*

Аннотация

Эта книга – воспоминания о моей дочери, это памятник моей родной Женечке, погибшей от лейкемии в 27 лет. Эта книга – о ее детстве, юности, о двух лютых годах болезни. Это попытка сохранить Женечку в земной жизни, не потревожив ее посмертие. Эти воспоминания адресованы тем, кто потерял единственного любимого человека, это крик и плач, это попытка войти в круг добра и понимания.

Содержание

Памяти Женечки Кантонистовой	7
От авторов	11
Наталья Кантонистова. Плач по Женечке (1972–1999)	13
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Наталия Кантонистова. Павел Гринберг Все так умирают?



«Мы не бедные, мы богатые, у нас есть крепость духа и смирение, и мы можем их растить».

«Несмотря на мой продолжительный и мучительный мыслительный процесс, главный вопрос остался непонятым: по большому счету, свобода есть?? Больше импонирует полный фатализм, но сомнения возникают все регулярней...»

Женечка одаривала безоглядно, имея к тому призвание, отдавала больше чем брала, и истаяла, отдала себя всю. Ибо уходит первым тот, кто умеет отдавать.

Женечка еще хворает, томится, скучает. «Помечтай о чем-нибудь», – прошу я.

«О чем? Все сбылось», – откликается Женечка.

«Господи, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, не мучай меня, что же тебе все мало». Если я пыталась возражать, ведь он (она) тебя любит, ответ был: «О любви должен судить тот, кому она адресована».

«Я не боюсь смерти, я боюсь страданий. И если выпало умирать, то я буду развиваться там».

«Больше никаких больниц, я не хочу быть меньше, чем я есть. Я не хочу терять последнее, что у меня осталось – собственное достоинство».

Мы признались друг другу, что думаем одинаково: даже лучше переболеть столь тяжело и выздороветь, и жить, цenia всякие маленькие нежные прикосновения жизни.

А Женечка уговаривала меня: «Не переживай, не расстраивайся так, мама, мне не было хорошо на свободе». И одновременно мечтала об этой свободе: «Наконец-то я знаю, что с собой делать».

«Какая я счастливая. Дождь, музыка, печенье и ты рядом!» Мне мечталось видеть Женечку счастливой, вот такое нам выпало счастье.

После выхода из комы Женечка порой недоумевала: как же так, ее, Женечки, не было здесь, на земле, а жизнь шла как шла, и люди жили, как ни в чем не бывало.

Такая борьба за жизнь, за которую приходится платить собственным унижением, стала казаться Женечке мелкой, недостойной, созрела готовность отдаться судьбе.

Как говаривала Женечка: «Никто не уважает, не ценит мои муки, страдания, боль. Каждый день я живу как последний».

Порой Женечка отталкивала мысль о болезни. Нет, Женечка здорова, а эти неопровержимые муки, они не знак болезни, они какой-то другой природы. Думается, это означало, что Женечка чувствовала сохранным свое глубинное «я», болезнь его не затронула, разве что обогатила.



При оформлении книги использованы рисунки Жени Кантонистовой и фотографии из архива автора

Они будут ждать. Кажется, многие.

Почему меня? Кто я такая? Почему я в этом уверена? Почему я хочу этого? Для чего это мне нужно? – не знаю. Но знаю, что хочу быть лучше, любить сильнее. Сейчас, кажется, это главное. Главное – путь к местами едва начертанным, местами ярко обведенным идеалам. Надеюсь, что приблизительно понимаю свое назначение.

Быть лучше – это относится ко всему. Любить сильнее – это Его и Мое.

Быть лучше: стараться понимать окружающее в более близких мне проявлениях его сути и любить за это близкое. (И вот уже опять тебе ничего не хочется. Тогда надо заставлять себя.)

А надо ли?

Женечка, 10.02.1988

Памяти Женечки Кантонистовой

Это не беллетристика, не литература. Это документ прекрасной человеческой судьбы. Или, быть может, крик. Крик боли, вопль. Сплошная, на протяжении более чем двухсот страниц взрывная волна боли, любви, отчаяния. Это книга о самых трагических и серьезных проблемах, которые рано или поздно возникают в жизни каждого.

Почему она ошеломила столь многих? Людей бывалых, выдавших виды, глядевших в глаза смерти не раз и в упор – смерти не обычной, венчающей долгую, насыщенную жизнь, смерти детской, которую невозможно принять и оправдать. Ничем, никакими доводами и убеждениями. Даже верой. И реакция на эту книгу у всех одна – оторопь, шок. Цветаева бы сказала: ожог. Ожог боли. И вместе с тем вся книга – сплошной знак вопроса. Недаром он вынесен в заглавие. В чем же этот вопрос?

Живет в Москве девочка. С фотографии на нас смотрит красивое лицо – не столько обаятельное и кокетливое, сколько одухотворенное. Почему-то особенно хороша Женя с короткой стрижкой, с полуоткрытым ртом и открытой точеной шеей (август 1998 года). Во всем облике сквозит гармония и чистота. Пролистываю одну страницу и смотрю, как с обрыва в пропасть – пропасть боли и муки. Самая значительная фотография, та же, что и на обложке, – после выхода из комы. Лицо-маска из греческой трагедии с отрешенной, нездешней улыбкой. Аллегория страдания.

Девочке дано очень многое, все то, что в привычном понимании составляет счастье: мать, любившая ее невероятной, даже чрезмерной любовью, обожавшая ее всегда – с первого до последнего вздоха, одарявшая неизменной заботой, вниманием, уважением.

О родительской любви стоит сказать особо. Все мы любим и даже очень любим своих детей. Отдаем им свое время, тревожимся, переживаем за них. Терпим их причуды, несправедливости, грубости, повальный эгоизм. И прощаем. Неустанно прощаем им все. Тут нет особой доблести, хотя подчас это нелегко. Но очень редко встретишь такой силы родительскую любовь, какая проступает сквозь жгучие строки этой книги. Я, по правде сказать, и не встречала. Любовь, граничащая с благоговением, которое мы способны испытывать лишь в отдельные минуты (чаще всего в юности) по отношению к очень значительным людям. Но и девочка эта особая – достойная восхищения и обожания.

А между тем как часто в семье люди словно специально созданы для того, чтобы мучить и терзать друг друга: дети – родителей, родители – детей, муж – жену и наоборот, а чаще всего – взаимно.

Но перед нами совсем другой вид отношений: девушка в двадцать пять лет помогает родителям. А мать просит у дочери прощения, мать, которая сделала для нее больше, чем могла, больше, чем во власти человека. На форзаце, во вступительном слове сказано: «Это – памятник моей родной Женечке, погибшей от лейкемии в 27 лет». Действительно, памятник – не только ушедшему ребенку, но и материнской любви.

Способности даны девочке тоже выше средних. Прекрасное образование, социологический факультет МГУ, блистательный профессор-руководитель, диплом, аспирантура, головокружительная карьера. В двадцать пять лет Женя получает приглашение на работу в Совет Европы. Какой стремительный разбег! И столь же внезапная остановка. Недомогание и страшный диагноз – острая лейкемия, рак крови. Говорят, удар судьбы. Удар наотмашь, сбивающий с ног, опрокидывающий наземь. А вслед за ним – два года таких страданий, о которых невозможно читать без слез.

Девочка незаурядна во многом. Ей свойственны безоглядная щедрость и умение отдавать. Очень рано проявляется ее пугающая зрелость. «В юности Женечка полюбила Гамсуна,

Набокова, Бродского, Довлатова, Сашу Соколова, Гессе, Томаса Манна, Фолкнера, Зингера, Кортасара, Борхеса».

Но самое, пожалуй, прекрасное в Женечке – редкое терпение и мужество во время болезни. Откуда они у совсем еще молодой девушки – барышни, как сказали бы в прошлом, теперь уже позапрошлом веке?

Мне кажется, что такие девочки встречаются ныне только в России, где только и возможна духовная и интеллектуальная жизнь такой интенсивности. Только здесь еще существует такая глубинная, подлинная причастность поэзии, литературе, живописи, такая громадная жажда знания и созидания.

А еще Женя наделена несомненным даром слова, ей дана лапидарность и художественность характеристик и определений: «Диагноз – гарантия обретения смысла, он заключается в ценности каждого мгновения» (из тезисов для конференции, посвященной времени). Может быть, это и есть один из основных уроков книги: «Неужели для того, чтобы полюбить город, надо из него уехать, чтобы начать дорожить жизнью, надо ее почти потерять, чтобы зауважать работу – получить на несколько месяцев отпуск, чтобы оценить природу – годами жить в городе...»

Ценность каждого мгновения жизни перед лицом смерти еще сильнее обнаруживает непрочность и эфемерность всякого земного благополучия. И какими мелкими кажутся в этом свете наши смехотворные амбиции, репутации, борьба самолюбий, тщеславие – вся эта шелуха и пустота нашей жизни.

Женечка уезжает на работу в Страсбург. Кто из нас не мечтал бы о таком? Однако «какое нечеловеческое одиночество поджидало тут Женечку, всегда грезившую свободой и одиночеством и всегда изнемогавшую под их тяжестью... Одиночество велико и многогранно, оно может вырастить тебя, а может и погубить, все в нем: растворение, приобщение к миру и себе, к своей глубине, отчуждение и разрыв с миром». А через несколько месяцев на нее обрушится страшная болезнь.

Последние два года ее жизни иначе как подвигом не назовешь – подвигом преодоления. Об этом невозможно писать в обычной повествовательной манере. Нарастание симптомов подобно уступам ада, медицинские процедуры – словно круги очищения: повторная химиотерапия, многочисленные пункции.

Испытание болезнью, помноженное на одиночество, выковало личность необычайной духовной силы: «в противостоянии болезни, в смертельном риске человек духовно растет и дорастает до самого себя».

В книге звучит немало упреков в адрес врачей, в особенности западных. Врачей, которые не пожалели и не пожелали дать матери надежду на то, что у дочери есть шанс на жизнь. Гастроэнтеролог спокойно бросает совсем еще юной девушке: «Вы все равно умрете». Особенно сильно это ранило там, в Европе, хотя проблема эта столь же остро стоит и здесь, в России.

Для лечащего врача-гематолога больная – лишь статистическая единица. «А как хотелось верить ему, благословлять его, пренебрегать его амбициозностью, враждебностью, уклончивостью...» Но, пожалуй, самый горький и справедливый упрек в адрес врачей состоит в том, что они не сделали всего возможного, не захотели выписать доноров костного мозга, хотя они были, и трансплантация могла спасти жизнь девушки. И в довершении всего они избегали общения с родителями.

Вся книга пронизана, напоена нежностью, иногда обескураживающей, настолько все это лично, для себя и для дочери, не для читательских глаз. Мать мечется, не знает, как унять боль, о чем молиться, она готова просить о смерти, чтобы заглушить боль и быть рядом с дочерью. Об этом невозможно читать и невозможно говорить. Последние два года она бук-

вально пронесла дочь на руках, дважды готова была уйти вместе с ней. Какие нечеловеческие драмы разворачиваются рядом с нами, а как мы живем на их фоне?

Мне хотелось бы поцеловать эти истрадавшиеся материнские руки и повторить то, что иногда западает в память прочнее и сильнее всего на свете, что написал однажды в сугубо личном письме к жене Мандельштам: «Любимого никто отнять не может». Мне хотелось бы хоть как-то, пусть неумело и выпендренно, выразить всеобщее сострадание к обоим героям. Всех, кому я рассказываю об этой книге и кто рассказал мне о ней. И еще мне хотелось бы написать Реквием. Реквием по всем страдающим и умирающим детям.

Первый, обычный и, в общем-то, здравый вопрос нерелигиозных людей: «Почему страдают и умирают дети? Бог не может допустить страдания невинных и безгрешных».

Наш опыт, вторя самым глубоким богословам, неустанно свидетельствует о том, что между миром и Богом лежит пропасть, что Бог вторгается в этот мир лишь Духом Святым, лишь потоками благодати и проявляется в творчестве и добре. Что тайна зла и страдания лежит в свободе, которую Бог даровал миру, и что доподлинно, реально и явственно существует метафизическое зло, которое мы так часто склонны недооценивать.

В земном плане, на поверхности вещей кажется, что перед этим злом мы бессильны. Мы бодем и умираем так же, как повелось с отпадения. Но между нами и смертью стоит распятый Бог, даже если мы об этом не знаем. Тот, Кто однажды и до конца времен заслонил нас от смерти, взял ее на себя и непреложно обещал воскресение. И только это дает нам силу и мужество выдержать все, что выпадает на нашу долю.

Когда мать переживает *такое*, ей невозможно жить дальше. А жить надо – из последних сил, скрепя сердце, уповая на грядущую встречу, которая затмит, как солнце, все временные, земные разлуки.

Памяти Жени Кантонистовой
Снова тень выкликаю оттуда,
Где последний повергнется враг,
И мелькает надежда на чудо
Или просто спасения знак.

Собиравшая в детстве камни,
Что тебе испытать довелось?
Даже словом коснуться не смею
Истонченного нимба волос.

Эти веки разошлись от соли,
И откуда-то сбоку ползла
Лава ужаса, страха и боли
Из вулкана безликого зла.

И на узеньком этом запястье
Посреди лиловеющих вен
Рвутся узы людского участия,
Ничего не оставив взамен.

Входит Вечность в больничные двери,
И Распятые темнеет в окне,

Упраздняя все споры о вере
И в церковной ограде, и вне.

Снова время больное измерьте
И ловите устами детей
Ослепительный образ бессмертья,
Восстающий из гула Страстей.

Анна Курт

От авторов

Женечка Кантонистова родилась 1 июня 1972 года в Москве. В 1989 году закончила школу № 64 (1284) с углубленным изучением английского языка. В том же году поступила на социологический факультет МГУ.

В 1994 году Женечка поступила в очную аспирантуру социологического факультета на своей родной кафедре «История и теория социологии».

Женечку, несомненно, привлекало аналитическое направление в науке. Обладая прекрасной эрудицией и памятью, умением мыслить последовательно и корректно, она из сопоставления различных мнений и подходов извлекала много нового и неожиданного, умела донести свою мысль до читателя во всей полноте и убедительности.

С марта 1994 по февраль 1997 года Женечка работала в Агентстве международного развития США специалистом проекта неправительственных организаций, куда была отобрана по результатам собеседования. Быстрый служебный рост в Агентстве, высокая оценка коллег, благодарственный сертификат, полученный из рук посла США в России – все это свидетельства высокой квалификации Женечки. В октябре-ноябре 1996 года Женечкой была принята поездка в США, целью которой явился сбор литературы, недоступной в России, но необходимой для продолжения работы над диссертацией в соответствии с теми высокими стандартами, которые Женечка считала для себя обязательными.

Нежная и хрупкая, прелестная, безоглядно смелая, Женечка всегда брала на себя весь груз ответственности и в личных, и в профессиональных делах, с неизменным мужеством всегда сама принимала важные решения. Со всеми и во всем была абсолютно, нестигаемо честна.

Женечка была гармоничным и поразительно искренним человеком. Все настоящее всегда привлекало ее. Женечка прекрасно разбиралась в искусстве. Как потрясающее личное событие, радующее или ранящее, переживала встречу с красотой – в живописи, музыке, книгах, кино, живой жизни. Умела быть заразительно веселой, удивляя и очаровывая всех своим громким и чудным смехом, и всегда – неотразимо обаятельной. Ее естественность, равно как и чувствительность к жизненным происшествиям, ошеломляла. И скрыть этот дар обаяния и искусство удивлять Женечка была не в силах даже при самом поверхностном общении, как не была способна к равнодушному нейтральному разговору и раскрывалась для внимательных глаз вся, даже спрашивая дорогу у случайного прохожего. Женечка не умела быть нейтральной. И не терпела банальности поведения и выражения. Некоторые люди потрясали ее, и она просто влюблялась в них, другие сразу вызвали протест. Женечка владела изысканной и своеобразной манерой разговора, очень женственной и интеллигентной – из какой-то другой эпохи, в ее рассказах самые непривлекательные персонажи приобретали романтические черты, заимствуя у рассказчика благородство натуры. Многие ее оценки людей и обстоятельств обладают тем удивительным свойством, что настигают людей через многие годы и только тогда вполне осознается их живой смысл. И ты вдруг видишь что-то ее глазами. Женечка обладала искусством выглядеть элегантно, ее живая красота жила вместе с душой и светилась всегда по-разному. Изящество и грация неотступно сопровождали самые обыденные, простые Женечкины поступки, которые благодаря этому выглядели как таинства, а не как затверженные механические действия, и чувство глубокого смысла и прелести происходящего никогда не оставляло близких и любящих ее людей. В 1997 года Женечка, пройдя многоступенчатый конкурс, одна из первых российских граждан, получила приглашение на работу в Совет Европы по предоставленной России квоте. На комиссию в Страсбурге решающее впечатление произвели ее опыт, образование и неподдельная искренность. С марта 1997 года Женечка работает в Департаменте политических дел специалистом по внешним

связям. В сентябре 1997 года в Братиславе на заседании Ассамблеи ООН должен был состояться ее доклад в качестве эмиссара Совета Европы с изложением точки зрения Совета на события в Югославии. По дороге Женечка заехала в Москву, где ей был поставлен диагноз «острая лейкемия». Женечка проходила курс лечения в больницах Страсбурга. Два с половиной года болезни она несла на себе страшный груз физических и душевных страданий. Были и боль, и ужас, и «переоценка ценностей», и героическая стойкость. В тесной клетке мук Женечка узнала о жизни и смерти что-то, многим из нас, «свободным», недоступное.

19 ноября 1999 года в возрасте 27 лет Женечка скончалась.

Наталья Кантонистова, Павел Гринберг

Наталия Кантонистова. Плач по Женечке (1972–1999)

Женинька, маленькая, прости меня, прости меня, прости меня.

Доченька, доченька!

Все тебе, все твое!

Эти горы, вдали синеющие, горькие, пыльные, влекомые, влекущие, небо и землю соединяющие.

Твои – водопады, речушки, пруды, прудики, моря, океаны, лужи, окомы.

Твои – цветы, рдеющие, лиловеющие, льющие синеву, горделивые, застенчивые, устремленные к солнцу, прячущиеся от

него, влюбленные в жизнь.

Твои – травы, трепещущие на ветру, деревья ветвистые, деревья круглолицые, нежность рождающие, силы дарующие.

Солнце, звезды, их свет, небо, осиянное их светом, воздух, напоенный их музыкой.

Доченька, Доченька, откройся, прими эти дары. И любовь,

огромней которой нет, прими!

Радуйся!

Так написала я в дни первого нарождающегося ужаса, и листочки, вырванные из блокнота, положила Женечке, лежащей на больничной койке, под подушку. Листочки эти сохранены вместе с единственным письмом, посланным мною Женечке, и возвращены мне за ненадобностью. Адресат их, моя Женечка, моя маленькая, ушла из этого мира.

Где ты теперь, Женечка? Отзовись!

Прости меня, маленькая, прости и за то, что твой уход столь велик для меня, а я для него столь мала, что не могу почувствовать все целиком. Все какие-то фрагменты, осколки, и боль крошечная.

Прости меня, маленькая, наверное, я делаю и говорю что-то не так, я совсем потерянная. Да, мне не хватает бесстрашия, силы духа последовать за тобой, веры в то, что мы где-то там встретимся. Маленькая Женинька, я все думаю о твоих муках: как же безмерны, как чудовищны они были, и все так же не могу понять и, конечно, никогда не пойму, Господи, для чего же они были.

Женинька моя, помнится, не раз я виноватилась в большом и малом, все житейские сложности и все неразрешимое бытийное пытаюсь покрыть, разрешить своей виной. А ты, Солнышко мое, противилась, и, должно быть, не только для того, чтобы облегчить мне ношу, а по своему пониманию мироустройства. «Я думаю, в мире есть что-то, помимо твоей вины», – так не раз говорила ты, моя Женинька.

Когда-то, теперь кажется, совсем давно, когда все по нынешним меркам было благополучно, думала я порой о возможности того, что моя маленькая когда-то уйдет, конечно, когда меня уже не будет, и думала как о чем-то мирном и естественном. Ведь Женечка такая необыкновенная, ей дано будет проникнуть в те области и сферы, где нет места страху.

Но мы не успели, и даже моя маленькая, мое солнышко, моя Женинька не успела, хотя и были взлеты: «Мы не бедные, мы богатые, у нас есть крепость духа и смирение, и мы можем их растить».

А вот вырастить их мы, наверное, не успели... Говорю от себя, и полноты знания в том нет, и все же, все же чаще нас с головой накрывали отчаяние и мрак, враждебность и безжалостность мира.

Моя маленькая, моя Женечка, в марте 1997 года уехала из Москвы, из дома, работать в Страсбург, а к сентябрю из отдельных недомоганий сложился страшный диагноз – лейкемия. Диагноз был поставлен четвертого сентября, в районной поликлинике, в Москве, куда Женечка приехала на каникулы. Не мешкая, за Женечкой прислали «Скорую помощь», чтобы отвезти в больницу. Мы тогда, на что-то надеясь, сомневаясь в диагнозе, да просто потеряв голову, ехать отказались и отправились в Гематологический центр РАМН РФ на следующий день сами. Диагноз там подтвердили, и доктор Менделеева посоветовала Женечке лечиться во Франции, коль скоро есть такая возможность. Помню я, неофит в ту пору, подошла к недоброй памяти доктору Грибановой и начала ее расспрашивать о трансплантации костного мозга, полагая, что именно в ней, в этой самой трансплантации, может быть, наше спасение. И бескорыстно-жестокая доктор Грибанова на мои наивные вопросы просто так, безо всякой на то нужды, ответила: «До пересадки мозга надо еще дожить». Еще один удар в солнечное сплетение, а сколько их еще будет. Подобрал меня в тот день доктор Шкловский, вдохнувший веру словами: «С этим диагнозом можно жить и иметь семью». «Жить и иметь семью», – так я себе потом и твердила, так твердила и Женечке.

Седьмого сентября Женечка улетела в Страсбург, и началось ее лечение в Страсбургском госпитале. Нам объяснили, что лечение по плану состоит из трех циклов химиотерапии, а там, Бог даст, с такой-то долей вероятности, Женечка будет здорова. Девятнадцатого ноября 1999 года Женечка умерла.

Я записала, что вспоминалось о двух лютых годах, записала с тем, чтобы как можно дольше быть рядом, не отпускать, держать за руку, гладить по головке, не умея уйти вслед и не умея жить, болтаясь на юру, ни жива ни мертва, и все надеясь собрать силы, обрести бесстрашие и отправиться вслед за Женечкой. Порой обволакивает спасительное чувство: все сон, все снится, это – невозможно, этого не может быть, но ощущение такое слишком скоротечно, не удержишься. Порой, как Женечка, ее же словами молю: «Господи, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, не мучай меня, что же тебе все мало». И от себя: «Господи, подари мне смерть, не медли».

Как, почему Женечка оказалась в Страсбурге? Должно быть, то было бегство от тупиковых отношений, переживаемых со свойственной Женечке иступленностью, пронзенностью ими до мозга костей. К тому же жажда независимости, самостоятельности, потребность в самоутверждении. Можно, конечно, все это объединить, обезличить понятием судьбы. Но зачем? Ведь для человека судьба проливается дождями, встает радугами, волнует изломами рек, очертаниями холмов, светоносным струением воздуха, порывами навстречу горю или радости.

Боже, и какое же нечеловеческое одиночество поджидало тут Женечку, всегда грезившую свободой и одиночеством и всегда изнемогающую под их тяжестью, не переставая мечтать о них. Одиночество велико и многогранно, оно может вырастить тебя, а может и погубить, все в нем: растворение, приобщение к миру и себе, к своей глубине; отчуждение и разрыв с миром.

Быть одной – так трудно, непосильно, так бездонно. Быть с людьми – так легко, празднично, и так мучительно: слова, ложь, раздрызг и так чужд ты самому себе. Как не надорваться? Как найти зовущее тебя одиночество, в котором растворение, равновесие с душой мира, равное для тебя, моя Женечка, жизни.

Женечкино самостояние, то, что было стержнем в моей маленькой, подвергалось угрозе размывания, и особые силы были нужны для поддержания своей целостности.

Моя маленькая, мой малыш, мне становится немного трудно так к тебе обращаться, как будто все более явственно вырисовывается для меня твое величие: пройти через годы мук, умирания гордо, отталкивая унижение, отказываясь от помощи, с готовностью пройти через все муки одной, лишь бы сохранить себя, свою суть. Моя маленькая, моя драгоценная, моя святая, я все не могу понять, это непостижимо, мой малыш, разве так могло случиться, разве ты ушла, и мы все так навсегда и будем виноваты перед тобой, и ничем, ничем нельзя искупить свою вину каждому из нас, внесшему свою лепту в твою гибель, не научившему тебя радости, не подарившему тебе ласки, света, нежности, восхищения твоей мудростью, самостоянием, красотой, изысканностью.

Моя любимая, на коленях молю, только принимай мою любовь, мое восхищение, мое обожание, где бы ты ни была, они дойдут до тебя, даже если ты забыла меня... Это страшно, но даже если это так, прими мою любовь, да найдет и согреет она тебя повсюду, моя главная, моя единственная, такая маленькая и такая мужественная.

Да святится имя твое!

* * *

Значит, нету разлук.
Существует громадная встреча.
Значит, кто-то нас вдруг
в темноте обнимает за плечи,
И, полны темноты,
и, полны темноты и покоя,
Мы все вместе стоим
над холодной
блестящей рекою.

Иосиф Бродский

Собираясь еще только на конкурсное собеседование в Страсбург, Женечка ходила в Библиотеку иностранной литературы и меня брала с собой.

Я видела в том незаслуженный подарок, принимала с восхищением и недоумением: «За что мне такое счастье?» То был наш излюбленный маршрут: по бульварам вниз, к Яузе. Рассматривали прекрасные альбомы, среди них с видами Страсбурга. С особым пристрастием вглядывались в страсбургские каналы, в их конфигурацию, их иероглифы; они прельщали, завораживали, манили.

Но Женечкины волосы, почему они так безжизненны, в них нет силы, защиты, их красота куда-то спряталась, почему так согбенна фигурка, так пожухли все краски жизни?

Да, мне впору каяться и в том, что я поддерживала Женечку в ее желании уехать – столь она была несчастлива, столь неприкаянна в Москве, а мне мечталось видеть Женечку счастливой, и не знала я, как помочь, только просила переждать, ибо образуется, изменится что-то. Но не в Женечиной натуре было ждать, вот этого она в ту пору совсем не умела.

Тут-то и всплыл этот Страсбург, напряжение конкурса, «успех», как в то время называлась поджидавшая нас катастрофа. Женечка как будто была убеждена, что будет принята на работу в Совет Европы, и утверждала, что с первого марта уже начнет работать в Страсбурге. Это при том, что ожидание результатов было невероятно напряженным. Четырнадцатого января 1997 года Женечка с повисшими несчастливо волосами рыдает в кресле, не имея больше сил ждать, не имея сил верить, отказываясь не верить. А на следующий день звонок

– приглашение на работу, приглашение в смерть. Что мы почувствовали? Да, наверное, все сразу: и радость, и гордость, и удивление, и растерянность, и горечь разлуки. Мы обмирали, терзались, тщеславились, горевали.

Отмечаем наш «успех» в итальянской пельменной на Тверской, пытаемся найти в себе радость. Пельмени оказываются вкусными, и на том спасибо.

В первый же выходной отправляемся к Центральному дому художников за картинами в новое страсбургское Женечкино жилище. Женечка выбрала мастерски выполненную, многозначительную, холодновато-загадочную яркую даму, которая так и пребывала декоративным пятном в последующих Женечкиных квартирах. Я же споткнулась о неистовую деву, белую на красном фоне, принимающую от голубя весть о спасении. И Господи, как же потом она властвовала над нами, мучила, осеняла, дарила и отнимала надежду. И Женечка уже в последние сроки, читая Библию (так сосредоточенно впервые), вычитала, что голубь принес миртовую ветвь в Ноев ковчег, будучи выпущен вторично, и готовы мы были узреть в том угодный нам смысл.

Из домашней библиотеки Женечка отбирает книги в новый свой дом. Библия, И. Бродский «Стихотворения, проза», И. Бродский «О Цветаевой», А. А. Аверинцев «Риторика и истоки европейской традиции», М. Цветаева – двухтомник, «Небесная арка. Цветаева и Рильке», Р. М. Рильке «Новые стихотворения», О. Мандельштам «Стихотворения, очерки, статьи», Х. Кортасар – четырехтомник, Х. Борхес «Коллекция», Н. Покровский «Р. У Эмерсон», Н. Покровский «Г. Торо», Н. Покровский «Ранняя американская философия», «Лабиринты одиночества» – сборник статей, под ред. Н. Покровского, Никита Евгениан «Повесть о Дросилле и Харикле», Л. Витгенштейн «Человек и Мыслитель», Л. Витгенштейн «Философские труды», М. Хайдеггер «Введение в метафизику», И. Ильф, Е. Петров – двухтомник, Саша Соколов «Между собакой и волком» и «Палисандрия», «Малоизвестный Довлатов», В. Ерофеев «Страшный суд», М. И. Пыляев «Старая Москва», И. Бунин – двухтомник, Ф. Достоевский «Бесы». Множество словарей и материалы для написания диссертации.

За два дня до отъезда мы гуляем по Кремлю, заходим в соборы, вглядываемся в иконы, то есть Женечка в иконы, а я – в Женечку. Может быть, то было касание святыни, приобщение к тайне красоты, не подвластной времени, поиск благословения. На нас смотрели суровые, беспощадные, не дарящие света лики. Из сегодняшнего дня могу сказать: не было тогда пронизывающего холода и страха, были смелость и стоицизм собравшегося в путь.

Накануне отъезда сидим во французском кафе на площади Маяковского, молча разговариваем. Чувства придавлены камнем. Внезапно прорываются бурными слезами. Мне кажется, мы с Женечкой похоже плачем, а вот смеемся совсем по-разному. Разлука, нас ждет разлука, но не долгая, нет, не долгая – Женечка собирается в скором времени пригласить родителей в Страсбург.

* * *

...но ни одному из них не приходила в голову та простая мысль, что им не может быть известна та болезнь, которой страдала Наташа, как не может быть известна ни одна болезнь, которой одержим живой человек: ибо каждый живой человек имеет свои способности и всегда имеет особенную и свою, новую, сложную, неизвестную медицине болезнь, не болезнь легких, печени, кожи, сердца, нервов и т. д., записанных в медицине, но болезнь, состоящую из одного из бесчисленных соединений в страданиях этих органов.

Лев Толстой. Война и мир

Девятого сентября Женечка ложится в Страсбургский университетский госпиталь в отделение онкогематологии. Здесь с больными не миндальничают, не церемонятся: в первый же день выкладывают им диагноз и малоутешительный статистический прогноз. Обрушивают на человека, и без того выбитого из колеи, ослабленного недугом, удар предстояния перед смертью. Всякому ли такое под силу? Вы верите в описываемую в книгах «философскую смерть?» Господа врачи, вы знаете таких людей, свободных от ужаса, страха смерти, страха умирания? И себя причисляете к таковым? Что же, у вас будет возможность испытать себя на этом поприще. Всей силой своего страдания желаю успеха, господа, вам, натешившимся зрелищем чужих страданий и смертей и потерявшим представление о смертной муке, о цене человеческой жизни. А коль скоро вы не цените тутошнюю земную жизнь, то и место вам не в больнице, а где-нибудь в святой обители или святом одиночестве. Так ведь нет, все вы – махровые материалисты. Это я вам, доктор Мульвазель, и вам, доктор Курц, не пощадившим, не подарившим надежды людям, доверившимся вам. Для этих врачей человек не имеет права на болезнь, или, если иначе, болеющий не есть человек.

Мой же страшный опыт ровно о другом: в противостоянии болезни, в смертельном риске человек духовно растет и дорастает до самого себя, до сопричастности чужой, нет, не чужой – общей боли. А по гамбургскому счету мой крик, мой протест обращен ко всей современной медицине, внедрившей в умы своих адептов такое безжалостное отношение к мученикам, и ко всем моим беспощадным современникам, разделяющим такой этический подход, простить которым Женечкину предсмертную муку и смерть по эту сторону смерти, преодолеваемые Женечкиным бесстрашием и силой духа, и все равно непреодолимые, не могу.

Все-таки милосерднее, как в старые добрые времена, умолчать о диагнозе или хотя бы о прогнозе. А если уж сообщаешь о диагнозе, то будь добр, истинно добр, поддержи человека в его вере в выздоровление.

Утешитель и специалист в одном лице – такое сочетание маловероятно, места первым в отделении онкогематологии не предусмотрено. Известно, что психотерапевтическая поддержка раковых больных нередко освобождает их от болезни. А если иначе сказать, душа первична, господа.

Поддержание стойкости духа у больных здесь, в онкогематологическом отделении, вероятно, возлагается на священнослужителей, время от времени со скорбно-просветленными лицами обегающих палаты и предлагающих, как коробейники из своего сундучка, кому что: кому сочувствие и надежду, кому свои представления о загробной жизни. Меня одна из таких сестер милосердия спросила: «Все еще надеетесь?» (И что мол, время и силы попусту тратите?)

Женечка лежала тогда в беспмятстве с черно-фиолетовыми веками.

Родственникам, на чьих глазах погибает их ребенок, их главный человек, им что ли вверяется функция поддержки? Именно тогда, когда они сами в ней бесконечно нуждаются. Посмотрите на родных, как они вам покажутся.

Способны они, каждый из них, иссеченный страшными муками своих главных и единственных, на ту поддержку, в которой нуждается бесконечно любимый ими человек?

* * *

Что касается тех, кто понимает язык птиц и знает лучше чужую печень, нежели свою собственную, то, полагаю, скорее должно им внимать, чем их слушаться.

Да, кто-то способен. Одну такую женщину, оберегающую и вытягивающую из бездны мужа, я видела, но только одну. Скажу еще, что у этой Женщины (с большой буквы написано само и не случайно) были братья и сестры, было четверо взрослых детей и несметное число внуков, и они, ее семья, поддерживали эту женщину и давали ей силы держать мужа на этом свете. Эта Женщина и нас с мужем поддерживала. Мне, например, рассказывала, что она опросила многих больных, и у всех все было хорошо, так прямо и говорила: «У всех все было хорошо». Я смотрела и слушала ее, раскрыв рот, не то чтобы веря всему что она говорит, но хоть немного просветляясь. И к Женечке эта Женщина заходила с улыбкой и добрым словом, иногда с забавной игрушкой, и в гости Женечку по выписке приглашала, вовек ее не забуду «Круговая порука добра». Муж ее не скажу что здоров, но жив и бодр. Женщина эта – Кристиан Зифферманн, психотерапевт по призванию, а лучше – целитель души, какие и нужны в первую очередь в таких отделениях, отделениях «пропащих». Такими видят своих пациентов нынешние специалисты от медицины – даже слово «доктор» не могу из себя выдать: доктор по определению добр и милосерден, и знаю я это с детства, а все, что знаешь с детства, – непоколебимо. Потому что таким добрым и мудрым доктором был мой дедушка – Николай Абрамович. И произнося это слово – доктор, я всякий раз вижу дедушку и всех равняю по нему

Светлая ему память.

Но здешние специалисты видят свое назначение только в точном (дай Бог, чтобы так) следовании так называемой программе, статистически обобщающей опыт ведения подобных больных и заодно предающей одного-единственного человека и снимающей с врача ответственность за результат лечения, воспитывающей в нем безразличие к человеку, приоритет статистики. Это какой-то нечеловеческий, механистический, в нашем случае «химический» подход. Не знают они, не ведают, что ли, что вера в выздоровление почище всех их химических колб чудеса творит? Кто-нибудь когда-нибудь из власть предержащих подумает об этом? Или только тогда, когда его единственный будет смертельно болеть?

* * *

Господи! Дай мне терпение, чтобы вынести то, что нельзя изменить, дай мужество, чтобы исправить то, что изменить можно, и – мудрость, чтобы отличить первое от второго.

Молитва оптинских старцев

Первые дни в больнице Женечка скорее возбуждена, чем подавлена. Случалось даже такое настроение свободы, что ли, пополам с растерянностью, когда казалось, что вот выпало Женечке такое время, когда она, наконец-то, предоставлена самой себе, никто от нее ничего не ждет, можно думать всласть о своем, читать, учить наизусть любимые стихи.

Женечка много смеется, ерничает, воюет с врачами. Война с врачами началась с того, что они сразу уведомили Женечку о невозможности в будущем иметь ребенка, однако после Женечкиного бунта, рыданий и переговоров, оказалось, что эту проблему можно-таки решить, введя определенный, защищающий половые железы, препарат. Женечка по этому поводу не без гордости шутила, что она тем самым защитила не только свои права, но и тех, других несчастных, попавших сюда женщин, кому в потрясении и испуге такое в голову не придет. Но и к сотрудничеству с врачами Женечка еще готова и соглашается принять участие в эксперименте – приеме нового дополнительного лекарства, однако по жеребьевке в число участвующих не попадает.

У Женечки постоянно люди, влекомые кто чем: сочувствием, любопытством, чувством долга. Женечка охотно принимает всех, во всяком случае, люди ее еще не тяготят. Часто

произносит слово «смерть», с насмешкой, с вызовом, с угрозой непослушным зловредным врачам, еще не зная, что их ничем не проймешь, они выгорели дотла, люди для них лишь за стенами больницы, здесь лишь нелюди-пациенты, маргиналы, как потом, горько закавычивая, будет говорить о себе Женечка. На все лады, пытаюсь справиться, повторяет Женечка ранившие ее пуще всех прогнозов непосредственные слова одного «участливого» врача, не имеющего отношения к лечению: «А вы все-таки поправляйтесь». Смерть – пока только слово, оно еще не обросло ни чувствами, ни мыслями, пока можно азартно играть в жизнь и смерть. Просит меня привезти из Москвы «Иосифа и его братьев» Томаса Манна, сборник шахматных этюдов, новую пижамку и старую шаль: красные ягоды по черному фону. Старые преданные вещи, мы так много пережили и выстояли вместе с ними, наша преданность обоюдная; сейчас время им поддержать нас, нам не обойтись без их поддержки. К ним так хочется прижаться, они не оттолкнут, они обнимут тебя. И в больнице Женечка в эту шаль куталась, и по лесным дорогам в ней бродила, и дома, в последние сроки, на головку завязывала, когда озноб бил. Женечкин наказ нам: «Помощь принимайте, не отказывайтесь».

Приезжаем семнадцатого сентября. Женечка в той самой белой рубашке, в которой будет умирать, коротко стриженная (так подруга подготовила Женечку к потере волос), красивая, с пронзительными глазами, родная, бесконечно родная.

Обнимаемся. Скоро появляется друг Сечкин со статьями о заболевании. Что-то обсуждаем. Женечка настойчиво отправляет нас ужинать. Первый и последний раз глотаем суп в китайском ресторанчике, что в соседнем с Женечкиным доме.

В первые больничные дни мы, потрясенные, сбитые с толку, обезумевшие, пытаемся обсуждать, отчего так случилось, отчего Женечка здесь, в больнице. «Я и так не такая, а тут еще эта болезнь», – смущенно говорила Женечка. Выходило одно: мы не умели радоваться, грех уныния покрывал нашу жизнь. Женечка сетовала и удивлялась, что не нашлось никого, кто бы сказал, объяснил, что у нее, у Женечки, все хорошо, все в порядке, что так можно жить, жить и радоваться. Мое покаяние Женечка отвергала: мы слишком близки. Кто мог быть этим человеком? И по сю пору не знаю. А во мне билось еще и другое, не умеющее сказать тогда, осознанное теперь: твоя болезнь, моя маленькая, это твое дерзновение, твое нетерпение, нечеловеческое напряжение стремительного роста, ты растешь так быстро, ты опережаешь саму себя, плоть твоя не поспевает за твоей духовной статью. Да и когда это нравственные, духовные достоинства: ум, талант, правдивость, благородство, щедрость, безоглядная смелость обеспечивали силу приспособляемости к миру дольному. Эти твои достоинства, Женечка, страшно произнести, давали «повод жить коротко, быстро и внутренне сильно». Как-то Женечка спросила меня: «А для тебя-то что изменилось?» Я содрогнулась, чем-то обидным повеяло, только потом поняла: не было здесь сомнения. Женечке, так же как и мне, нужны были слова: как дорога, любима, бесценна моя Женечка, как боготворю я ее, как не мыслю себя без нее и как перевернулся мир с ее болезнью.

К этому времени Женечке закончили вводить «химию». На следующий день переводят в стерильную палату. Поначалу самочувствие приличное, что отчасти даже удивляет врачей, но длится такое состояние недолго, возникают боли во рту, желудке, резко поднимается температура, слабость такая, что трудно пошевелиться. Впервые за это время видим Женечку смятенной, плачущей.

Каждое утро после короткого забытья, растерзанная, я сползаю с топчана, не понимая, не веря, неужели у нас эта страшная болезнь. Сердце разрывается, ноги не идут и все-таки приводят к трамваю. Каждая остановка – зарубка на сердце, каждая остановка приближает к гибельному месту, где мечется моя маленькая. С трамвая иду по мосткам через ров, заклиная: «Женечка будет здорова и радостна, Женечка будет здорова и радостна...» Госпиталь, длинный коридор, лифт на двенадцатый этаж, вход в отделение онкогематологии, тугая двойная дверь, опять коридор, запах больницы, двери в палаты, за одной из них Женечка. Скорей

увидеть, дотронуться, найти в себе капельку света, протянуть ее Женечке. При открывании двери всегда проделываю один и тот же неуклюжий ненужный поворот вокруг своей оси: медлю, тороплюсь, цепенею. Вхожу в тамбур палаты: маска, дезинфекция рук. «Солнышко, это я». Женечка не всегда в силах ответить, иногда вместо приветствия невнятный звук. С жадностью вглядываюсь в Женечку: каким будет сегодняшний день? Свою боль, напряжение, муку Женечка прячет от нас, никогда не жалуясь, только ножки своим беспокойством дают знать, что Женечке невмочь. Я бросаюсь растирать, массировать их, заговаривать, изгонять Женечкину муку.

Ждем перевала. Мы уже знаем, что, как правило, недели через две после гибели клеток крови, должно начаться их восстановление и общее улучшение, за которыми должна последовать домашняя неделя – неделя каникул, так что можно тешить себя мыслями и разговорами об этой возделенной неделе. Понемножку читаем вслух «Двенадцать стульев», но что-то у нас плоховато с юмором. Беремся за Бунина: «Жизнь Арсеньева», «Темные аллеи». И всюду-то у него смерть. Как это у него в дневниках: «Блаженны мертвые, иже избрал и принял еси Господи». Уклониться, оборвать чтение или читать, как о чем-то высоком, естественном, не отвергающем, а венчающем жизнь, укорениться в таком понимании, попытаться укорениться. А по правде, так мне казалось, Женечке важнее слышать мой голос, и я продолжала читать и тогда, когда Женечка засыпала, а случалось такое нередко. Пытаемся слушать радио, но думаем, мечтаем об одном: обнять, обнять Женечку, освобожденную от этих страшных трубочек, штатива, катетера. Женечкин отец уезжает в Москву, нам все-таки кажется, что лечение идет успешно. Женечка жалеет меня, постоянно посылает в буфет подкрепиться, беспокоится, кто же меня поддерживает. Мои ответы-отчеты выслушивает ревниво, вердикт выносит сама, по каким-то только Женечке ведомым признакам, опровергая порой мои слова немногословным: «Нет, я вижу, какое у тебя опрокинутое лицо». Это правда, лицом я не владела, и любая поддержка здесь была бы, наверное, бессильна. Прощаясь на ночь, Женечка, когда были силы, напутствовала меня нашим московским пожеланием-заклинанием: «Аккуратненько».

* * *

Надежде, как всякому проявлению творческих сил души, нужен побудительный импульс – любовь.

Торнтон Уайлдер

В положенное время делают главный анализ – пункцию костного мозга, он должен показать, все ли опухолевые клетки убиты. Мы еще немного прежние, мы еще верим: плохого просто не может быть. Уверяем в этом Женечку, уверяем с чистой совестью.

Но анализ плох. Я узнаю об этом от Женечки, рыдающей в телефонную трубку, я еще не понимаю почему, я еще вообще мало что понимаю в болезни, но тревога делается нестерпимой. По приезде в больницу как раз вижу, что устанавливают на штативе новые злоеющие банки для повторного курса химиотерапии. Выхожу в коридор, не хочу, чтобы Женечка видела мои слезы.

Сердобольная медсестра желает меня утешить: «Болезнь зла, и не в первый раз случается такое, что ее не удастся убить сразу». Что же, спасибо и на этом. Теперь я хотя бы могу сообщить Женечке, что такое случается, такое бывает, развить эту тему, убедить себя, убедить Женечку, что ничего особенного не происходит, все идет своим чередом. В этот день, второго октября 1997 года, четверг, происходит резкое ухудшение состояния. Высочайшая температура, бесконечная слабость.

Нарушения движения, речи, рвота, понос. Женечкино лицо постоянно меняется: меняются черты, цвет, выражение. Женечке трудно дышать, начинают давать кислород. Седьмого октября – страшный врачебный обход.

Звучит слово «schlimm» – плохо, и предупреждение, что в ближайшие два дня будет еще хуже. В тот же день от некой патронессы в непонятном мне контексте слышу впервые невозможные, страшные, отнимающие веру слова.

Зачем, зачем она это говорит? Женечка из последних сил звонит в Москву. Зовет отца, который неделю назад вернулся из Страсбурга, полагаясь на благоприятный ход лечения. На следующий день, восьмого октября, отец прилетает. Ночует в больнице. Девятого октября с утра Женечке как будто немного лучше, ей вдруг хочется есть, она впивается в булку. Помню Женечкину улыбку – легко взметнувшуюся, как солнечный лучик, бессознательную, детскую, светлую, доверчивую, которой Женечка будто вверяла себя неведомому. Улучшение подтверждает и приглашенный отцом врач. Сразу после ухода врача, Женечка произносит: «Я умираю». Спустя короткое время – эпилептический припадок, сбегаются медсестры и врачи. Мы сидим в телевизионной комнате, раскачиваемся и зываем: «Господи, помоги!» После укрощения приступа безжизненную Женечку с чепчиком на головке увозят делать сканер. Никто почему-то не понимает, что Женечка без сознания. Женечки долго нет. Когда привозят обратно в палату, приставляют к Женечке какие-то следящие приборы, с пальчика все время спадает клемма, я все пристегиваю ее обратно. Заходит дежурная медсестра, ее что-то настораживает, она приподнимает Женечкины веки, идет за врачом. В это время случается повторный эпилептический припадок, на мои истошные крики опять бегут медсестры и врачи. Женечку везут в реанимационное отделение, она кричит и вырывается из охватывающих ее петель, а мне объясняют, что там будет лучше – более пристальное наблюдение, более совершенная аппаратура.

Сижу в опустевшей палате, жду мужа и приехавшего к тому времени брата. Идем в реанимационную. Женечка по-прежнему кричит и бьется. Рядом с ней главный реаниматор – доктор Лютан. Женечка без сознания. У Женечки кома. У нас записывают номер телефона. Весь следующий день мы лежим пластом дома, не в силах подняться, содрогаясь от телефонных звонков. Звонки случаются, к телефону с ужасом всякий раз подходит брат. По телефону нам сообщают, что сканер головного мозга показал три небольшие гематомы. Что это значит? Сколь это важно? Совсем плохо, окончательно плохо?

На следующее утро встречаемся с главным реаниматором. Реаниматор с непривычно человеческим лицом, искаженным мукой сострадания (так и остался в памяти доктор Лютан, вспыхивающий твоей болью или твоей радостью, худенький, хрупкий человек, которого и Женечка почувствовала и полюбила), принужденно объясняет: он пессимист – и излагает все основания для пессимизма. В голове мутится, понимаешь одно: доктор Лютан сделает для Женечки все возможное. А тебе остается молиться. Женечка из коридора переведена в палату, и ее можно навещать. В отведенные часы, продлевая наши посещения сколь возможно, мы у Женечки. Женечка кричит и бьется. Мы молимся, молимся, молимся. Не своим голосом я пою детские песенки, и – о чудо! – Женечка, случается, на минуту затихает, будто прислушивается. И я зову, зову Женечку: «Женечка, ты выздоравливаешь, плохие клетки убиты, растут хорошие, возвращайся, не уходи».

В эти тихие, спокойные минуты Женечка нежно, трепетно красива, в Женечкином лице угадывается, рождается лик. «Лицо становится истинно человеческим, когда оно уводит за рамки своих черт, куда-то вдаль и вглубь, в то, что больше него и ни в какие черты не вмещается. Уводит в Дух. <...> Вот когда лицо станет ликом, отражающим и выражающим смысл Мира» (Зинаида Миркина). Ты ведь так хотела иметь выразительное лицо, моя маленькая, ты до него доросла. Порой, в неурочные для посещений часы, сидим во дворе госпиталя: перед глазами вазон с цветами, одна прядь цветов вкрадчиво спускается по стенке вазона –

есть что-то в этом завораживающе-обнадеживающее. Иногда бродим под окнами реанимационного отделения, твердим, твердим молитву.

В один из дней встречаемся с главой онкогематологического отделения.

Он рассказывает нам о поражении мозга и, ссылаясь на подобные случаи в его практике, готовит к самому худшему. Нет, мы не готовы и не собираемся готовиться, в нас отвержение и бунт, мы еще не растеряли силы для сопротивления ужасу и болезни – такого исхода быть не может, Женечка будет жить. В этой вере нас поддерживает московский доктор Шкловский. По нашей просьбе и просьбе Женечкиных коллег собирают консилиум из врачей реаниматоров и онкогематологов, но по-настоящему никакой это не консилиум, потому что совместного

обсуждения Женечкиного состояния и возможностей лечения между врачами на нем не происходит. Врачи разных специальностей то ли не хотят, то ли не умеют вместе работать. Эта встреча – скорее дань уважения и сочувствия нашей тревоге и отчаянию, но она предоставляет нам возможность высказаться, чем мы и пользуемся, не стараясь быть корректными, не скрывая недоумения и ужаса. Реаниматоры были более сочувственно настроены, а гематологи – ожесточены, и понятно почему: ответственность за Женечкино состояние, в той мере, конечно, в которой они готовы были ее на себя взять, все-таки лежала на них. С того дня и началось наше с врачами-гематологами, а в первую очередь с главным специалистом, доктором Мульвазелем, противостояние, прерываемое короткими периодами перемирия, что случались порой в моменты нашей импульсивной благодарности или опаматования через произносимую ежечасно молитву, обращенную к Пресвятой Богородице, со звучащими в ней словами: «ум и руки врачующих нас благослови». Женечка в эту молитву тоже верила, текст ее всегда лежал у Женечки под подушкой, а в последние сроки книжечку с молитвой Женечка положила среди листков со страшными анализами крови. Книжечка и сейчас там лежит, хотя руки чешутся, скажу прямо, в проклятиях, посылаемых всем и всему, изничтожить книжечку. А полюбить врачей, как просил нас ради нашей же пользы доктор Шкловский, и поверить им мы не сумели.

На помощь Женечке приходит друг Сечкин и прекрасная Энн, наделенная даром деятельного сочувствия. И доктор Лютан иногда незримо, но постоянно присутствует. Однажды, семнадцатого октября, доктор Лютан говорит нам, что у него есть робкие основания для оптимизма: Женечка открывает глаза. И сам вспыхивает навстречу нашим счастливым слезам. А на следующий день уже друг Сечкин горделиво заявляет о своих успехах: Женечка откликается на его призывы, открывает глазки, пытается приподняться. Сечкину в ту пору я была благодарна, от него исходила сила, Женечка к нему тянулась. И еще я видела, как он подле Женечки неистово молился. Вот уже и мы понимаем: Женечка выходит из комы, возвращается.

Женечка понимает обращенные к ней слова. Помню как величайшее чудо: в ответ на мою мольбу Женечка пожимает мне руку (Господи, как я помню, твою горячую ручку, встречно сжимающую мою!), а на просьбу веселой медсестры Валерии улыбнуться – послушно составляет губы в улыбку. Говорит Женечка беззвучно, губки шевелятся, а слов не слышно. Первое, что мы разбираем, – слово «Карола». Что это – нечто реальное или из мира Женечкиных грез?

Оказывается, Женечка хочет пить, а «Карола» – это минеральная вода, стоявшая на столе напротив. И скоро Женечка понемногу пьет и съедает 2–3 ложки йогурта. Женечке делают решающий анализ крови, доктор Лютан сам берет пункцию костного мозга. Нам объявляют о ремиссии, о помиловании. Мы обнимаемся, плачем.

Через несколько дней доктор Лютан, побеседовав с Женечкой с той ласковостью и уважением, на которые способен только он, заключает, что Женечка вполне пришла в себя и ее можно перевести обратно в отделение онкогематологии. Нам бы только радоваться, но

с доктором Лютаном мы чувствуем себя надежнее и потому даже просимся на несколько дней задержаться в его отделении. Доктор Лютан нас не понимает, он считает, что в реанимационном отделении находиться много страшнее, да и существуют какие-то формальные основания для нашего возвращения в онкогематологию.

* * *

Ничто так не укрепляет надежду, как чудо.

Торнтон Уайлдер

После выхода из комы, казалось: раз вернулась, раз Бог вернул, значит, решил оставить Женечку на земле, значит, выздоровеет Женечка. Даже вызов какой-то созрел: все, мы «там» были, и довольно, хватит с нас.

Но потихоньку вкрадывалось сомнение: не бывает так просто, слишком просто. А по чисто медицинским критериям кома, вызванная интоксикацией одним из использованных при химиотерапии препаратов, определила изменение курса лечения, что снизило вероятность успеха. И какой критерий вернее, мне с моего места было не видно.

После выхода из комы Женечка порой недоумевала: как же так, ее, Женечки, не было здесь, на земле, а жизнь шла и шла, и люди жили, как ни в чем не бывало. Должно быть не так, моя маленькая. Те, кто тебя любил и страдал за тебя, росли вслед за тобою, а до остальных ну что нам за дело. У каждого свое горе и своя радость. На кого обижаться, коль скоро мы созданы такими разобщенными, такими отдельными, такими одинокими. Рильке говорит: «...мы только и делаем, что рассеиваем себя, и мне кажется, все мы какие-то рассеянные, занятые, и не обращаем должного внимания на умирание людей...»

Нам кажется, уход человека что-то значит для других, как-то отзывается в сердцах. Не стоит заблуждаться. Он значим только для нас, боготворящих и боготворимых, а ты, Женечка, боготворима нами. И временами понимаешь: это так и должно быть, и так хорошо. Недаром говорят, и говорят верно, хотя и всякий о своем: каждый умирает в одиночку.

Содрогаешься, и хочется, конечно, чтобы кто-то, всей душой тебя любящий, не разделит, нет, такое разделить нельзя (Бродский пишет: «Ведь если можно с кем-то жизнь делить, то кто же с нами нашу смерть разделит»), а проводил и оплакал бы. А взаправду, так и надо, умирать одному, как мудрые звери. Просто нужно не бояться. Моя маленькая Женинька, как ты меня к этому готовила, я не имею права не принять твой урок.

* * *

Ожидание чуда – жизнь,
испытание чудом – счастье.

Женя Кантонистова

Из реанимации Женечку возвращают в прежнее отделение, поначалу в двухместную палату. Мне кажется, Женечка избегает моего взгляда. Да я и сама боюсь: что я могу сказать Женечке, как объяснить этот ад. И вдруг мы встречаемся глазами, и я чувствую Женечкину любовь, веру готовность принять, ничего не спрашивая. И при расставании крепко-крепко целуемся в губы.

Меня вдруг ударило: неужели я когда-то была любима, так любима. Я теряю способность понимать, чувствовать, как это – быть любимой моей маленькой.

Когда Женечку переводят в одноместную палату ее навещают приятели.

Женечка их занимает, шутливо рассказывая, что в реанимационной у нее появился жених и она очень надеется, что он навестит ее и здесь, и, может быть, получится что-то вовсе не шуточное. И заливается не своим обычным, раскатистым, громким, а нежным, девчачьим смехом.

С Женечкой начинает заниматься врач-кинестезиолог. Вот Женечка понемножку встает и начинает ходить, и это кажется невероятным. А через неделю нас выписывают, и прекрасная Энн, случайно захватившая навестить Женечку отвозит нас домой.

Предстоит неделя каникул. На следующий день по выходе из больницы Женечка с приятелями едет в монастырь Сент-Одиль, что высоко-высоко парит в горах. Там же и часовня Святой Евгении. Женечка резва, шаловлива: спотыкается, падает, принимает поддержку нежно чувствует жизнь. Жизнь внутри и снаружи едина, и Женечка к ней приобщена. Получает в подарок старинную плетеную сумочку которая потом долго висит на стене. Подняться по лестнице домой Женечка уже не может – устала, ее вносят на руках.

А на другой день Женечка задумывает провести неделю каникул в Дурбахе. Так называется маленькое чудесное местечко в Шварцвальде, где мы как-то летом, случайно на него наткнувшись, провели несколько безмятежных часов. Благодаря стараниям отца, снявшего жилье, мы отправляемся в Дурбах. Уютная, удобная, просторная квартира. Сразу же по приезде, закутав Женечку в плед, выходим в еще зеленый яблоневый сад. Низкое солнце, яркая высокая трава. Сидим в креслах, любуемся, нежимся на солнце, немножко прогуливаемся по саду. Женечка совсем слабенькая, большую часть дня спит или тихонько лежит то в гостиной, то в спальне.

Массируем ножки, спинку, читаем вслух Достоевского – «Игрока», Гоголя – «Тараса Бульбу». Пытаемся подниматься по вьющейся среди виноградников дороге. Тяжко, быстро наступает изнеможение – бешеный пульс, одышка.

Мечтаем дойти до поворота дороги. Наконец удается. Наше жилье естественно перетекает в двор, траву, деревья. Так невероятно раскрыть дверь на улицу и сразу быть омытым осенним светом и воздухом. Иногда просто стоим у порога нашего жилища. Перед нами палисадник: кустики, маленькие деревца, которые то ли отцвели, то ли своими набухшими почками готовятся расцвести вновь. Птицы, нороящие сесть на вершину дерева. Вдоль бордюра палисадника еще цветут крошечные бледные розочки, позже их накроют лапником. Нам созвучен этот час природы, он сладко тревожит нас родством, неразрывностью увядания и цветения. В любую минуту можно зайти в тепло и уют дома. Так ласковы, так первозданны все вещи в нашем новом доме, будь то чайник, кастрюля, настольная лампа, радиоприемник, так неожиданна и отрадна льющаяся из него музыка. Женечка вглядывается, прислушивается – недоуменно, озадаченно, многое видит будто впервые, раз и навсегда. Женечка полна душевной серьезности, нежности и уважения к жизни. Тает страх, непонимание переплетается с благодарностью, рождается родственное внимание ко всему здешнему. Наше постоянное желание коснуться Женечки, драгоценная возможность коснуться, помочь умыться, одеться, напоить морковным соком, накормить легкими супчиками. Помню свое ликование, когда Женечка, лежа в спальне, попросила вторую порцию салата.

Сосредоточенность, созерцание, готовность быть.

Как-то Женечка сетует, что потеряла свою рисковость. Нет, не могу принять, знаю, что она укрепилась в своем бесстрашии, знаю, что взрастила свою мудрость.

Однажды на машине поднимаемся на высокий холм к старинному (XI век) замку. Женечка полулежит на смотровой площадке, держась за перила. Впервые обозреваем ошеломляющий пейзаж, который порой будет казаться привычным, чтобы потом опять поразить с новой силой.

Женечка маленькая, сжалась в комочек на большой кровати в спальне в коричневом любимом свитере. Невидящий взгляд устремлен в окно, в окне большой зеленый, поросший

виноградниками холм, мы зовем его «Волшебная гора». Видит ли его Женечка? Плачу. «Что же ты плачешь, я же с тобой».

Моя безнадежность отступает.

Мы частенько спали все вместе, укрывая друг друга от страха. Во сне Женечка обыкновенно навзничь ложилась на меня, я замирала от нестерпимой нежности, тревоги, жгучей потребности остановить мгновение.

По вечерам гуляем в густом тумане «из ниоткуда в никуда».

* * *

Down to Gehenna or up to the Throne
He travels the fastest who travels alone¹.

R. Kipling. The Winners

По приезде в город Женечка идет с другом Сечкиным в китайский ресторан, слабая, воодушевленная, по-новому красивая, нежно шальная. Нас навещает Женечкина подруга Оля, помощь которой была поистине безмерна. Бывает у нас Энн. С воодушевлением объясняет Женечке, что предстоящие вслед за лечением два года медицинского контроля, что так пугают нас, только кажутся сейчас столь бесконечными, ведь по сравнению со всей открывающейся Женечке жизнью, срок этот вовсе невелик. Мы соглашались, кивали, но предельно ясных слов ее в своей оглушенности не понимали.

Через несколько дней Женечка приглашает в ресторан нас с отцом.

Размягчившись среди чужой безмятежности, говорю Женечке, кивая на сидящую неподалеку девушку: «И ты, Женечка, будешь такой же здоровой и красивой».

И Женечка в ответ: «Я знаю». Женечкин отклик меня очень приободрил, я привыкла абсолютно доверять Женечкиному чутью.

После многих анализов и тестов проводят третий половинный курс химиотерапии, проявляя осторожность после комы, и отпускают домой, дав наказ сразу же возвращаться в больницу, если поднимется температура.

Температура спустя несколько домашних дней поднимается. Мы снова в больнице. У Женечки случаются приступы лихорадки, когда ничем, никаким количеством пледов невозможно остановить крупную дрожь, сотрясающую все тело. Многократные обмороки, распластывающие Женечку на полу палаты. Иногда Женечка совсем серьезно, настойчиво предлагала: «Ложись со мной». Потребность в разделении страданий не была удовлетворена. Из своего неизменного кресла, уложив голову на руки, я устраивалась на Женечкиной кровати, притуливалась к моей маленькой, чувствуя родное, истончившееся тепло. Я могу только баюкать тебя, только нежить тебя, я могу только любить тебя, до остального мне нет дела.

Наконец мы дома. И впереди у нас немалые каникулы – двадцать шесть дней. Как мы пытались беречь это богатство, берегли и расточали, и как потом из этой громады в двадцать шесть дней неизменно вычитался день за днем, и таяла громада, таяла.

И вновь возвращение к жизни. Медленно, вслушиваясь в каждый шаг, гуляем по соседнему парку Оранжери, по Ботаническому саду. Заново видим траву, ее отдельность и ее причастность, ее бедность, горечь, противостояние горечи, ее затаенность, безмолвие, усталость и распрямленность. Взгляд проходит через листву, ветви, все пронизаемо взгляду, про-

¹ Вниз к геенне огненной или вверх к престолу Всевышнего Он путешествует – быстрее всех одиноких путников (англ.).

зрачно, открыто, осиянно. Свет то струится волнами, то застывает. Тишина в тебе и в мире, и тихий восторг – Женечка здесь, на свободе, с тобой, вы вместе, любимая, маленькая, непривычно кроткая.

Ушла Женечка, и с ней вместе ушли от тебя нежность, доброта, все смеющееся, дерзкое, лучистое, чарующее, родное, ушла здешняя жизнь.

Повсюду ее отсутствие. Отсутствие, нежизнь. Зачем ты здесь, ты ничего не хочешь, не можешь, разве что капельку жалеть всех, и удивляться тому, что жалеешь. Боль выгрызает внутренности, мертвая душа, мертвый дом, ожидание ночи, забвения, ухода. Смерть, приди, заberi, укрой от муки. Ухватиться за живое, обвиться вокруг Женечки, срастись навеки.

Однажды Женечку приглашают в кино. Фильм ровно о больном лейкоемией. В группе приятелей смятение. Одни, во главе с Олей, настойчиво выводят Женечку из зала. Другие почему-то в обиде на Женечкин уход.

Женечка приходит из кино в раздрызге – ей хочется, еще хочется ладу, общности. Женечка кому-то звонит, пытается сгладить возникшую взаимную неловкость. Кто-то прямолинейно сообщает, что герой от лейкоемии погибает.

Теперь мой черед, преодолевая ужас, настаивать, что у нас все будет иначе, ровно наоборот, мы выздоровеем. Маленькая Женечка меня доверчиво слушает и как будто принимает мои доводы. А выслушав их, примиряюще, спокойно говорит свое: «Может быть, мне еще немножко удастся успеть поработать, а может быть, даже и попутешествовать».

Как-то выходим с Женечкой в город, надо купить отцу теплую куртку в подарок ко дню рождения. Женечка очень любит делать подарки. Ведет меня в книжный магазин и покупает тоненькую книжечку. Это проза Рильке – «Флорентийский дневник». Женечка полагает, что мне следует заняться переводом. И мы обе радуемся задуманному Женечкой делу.

Неожиданным и оттого еще более радостным для Женечки стал приезд ее бывшей начальницы и одновременно подруги с первой московской работы – Джинни. Джинни была первая, кто навестил Женечку в Страсбурге еще в марте того года. Тогда они проехали с Женечкой по живописному винному маршруту, по деревням, где из местного винограда делают вино, так что всякий может выбрать себе подходящее по вкусу. От Джинни веет оптимизмом, не случайным и не на потребу дня, а подлинным, как подлинно в ней все: румянец, улыбка, рукопожатие, дружеское участие. Женечка рядом с ней такая бледненькая, хрупкая.

* * *

Кто обладает достоинствами, пусть выкажет это в своем поведении, в своих повседневных словах, в любви, в ссорах, в игре, в постели, за столом, в ведении своих дел и своем домашнем хозяйстве.

Мишель Монтень

Наконец мы едем в полюбившийся Дурбах. Именно в этот период, в декабре-январе 1997–1998 годов, случилось настоящее узнавание Дурбаха. В первый же по приезде день мы пешком поднялись к замку и с тех пор проделывали этот подъем ежедневно, иногда и не по одному разу. Потом наши прогулки удлинились, мы освоили настоящие лесные дороги, воплотившие наши мечты и представления о Шварцвальде. Однажды, кружа по лесным дорогам, которые то степенно поднимались, то плавно спускались вокруг лесных островов, набрали на хутор, ставший отныне естественной целью наших прогулок, а впоследствии Женечкиных забегов. Помнишь, Женечка, мы поднялись как-то вечером к замку пошли в сторону хутора. Стемнело, возвращаться в темноте было немножко жутковато. Среди ветвей сияли звезды, кто-то копошился, шуршал, хрустел сучьями в лесу мы едва удерживались,

чтобы не ускорить шаг, не побежать к дому... Напротив, останавливались, прислушивались, вбирали в себя холодный вкусный воздух, мерцающее звездное сияние.

Поначалу мы разместились в тех же, что и в первый раз, нижних комнатах, а позднее, с приездом новых гостей, переехали на второй этаж, где нам показалось еще уютнее, возможно, оттого, что внизу на первом этаже, размеренно, с чувством и толком хлопотали наши хозяева. От них вместе с ароматами кофе и вкусно приготовленных обедов к нам наверх просачивалось и чувство защищенности, нечаянной поддержки.

В Германии Женечка, обладая, казалось бы, совсем невеликими познаниями в языке, не смущаясь, а, напротив, охотно, даже азартно, отклоняя помощь родителей, вступает в разговор с местными жителями.

В тот месяц мы немало поездили по округе по маленьким, немного игрушечным немецким городкам, частенько под томное пение Лаймы Вайкуле. «Взгляд влеком к одиноко стоящим деревьям», – как-то заметила Женечка.

Женинька сидела впереди, а я сзади, не сводя с моей маленькой глаз, не в силах наглядеться. А позже, в какой-то момент, Женечка пересаживается на заднее сидение. И тогда я содрогнулась, и теперь содрогаюсь. То был знак, знак отказа, ухода, самоустранения.

Вспоминается маленький городок – многоярусный старинный Генгенбах с часовней на одном из холмов, одаривающий ощущением медленно и рачительно текущего времени, покоем и безразличием к чужакам. После прогулки по городу заходим на рынок старых вещей – здесь игрушки, украшения, пуговицы, кружевные салфетки, воротнички, значки, ордена, домашняя утварь, одежда, что-то из мебели. Мы подчеркнута внимательны к этой россыпи крупинок прожитого, к той золотой пыли, что остается на земле после нас. Женечку привлекла деревянная, ярко разрисованная подставка для кассет в виде скелета, высокая, в человеческий рост, то вспорхнуло облачко Женечкиного черного юмора.

Часто по вечерам, уже после ужина, выходим с Женечкой из дома, взбираемся на ближайший, сроднившийся с нами холм... Всматриваемся в ночное небо, пытаюсь распознать созвездия. (По Женечкиной просьбе друзья прислали ей книгу «Сокровища звездного неба».) Отыскиваем любимую, безымянную для нас звезду с голубым мерцанием. Женечка в ту пору старательно ела, розовела, поправлялась. И весь тот ужас, что был, и тот, что предстоял, нам удавалось делить на всех. Мы сбивались в кучу, мы были заодно и держались друг друга. И Женечка в ту пору верила: мы поможем, мы справимся. Часто звучавшие вопросы: «А я выйду из больницы?», «Мамочка, ты меня не бросишь?», «Мамочка, ты всегда будешь моей мамочкой?» – были не проявлениями страха, а знаком доверия. И мы в ту пору окрепли, у нас были силы верить, говорить: «Ты здорова, ты выздоровела,

Женечка, просто надо закрепить результаты лечения». Женечка каким-то чудом сумела запастись и вручить нам новогодние подарки. Мы же подарили Женечке альбом Ван Гога и стеклянный подсвечник, приглянувшийся нам во время прогулки по Фрайбургу.

В канун Рождества нас навещает Ханс – Женечкин начальник. Показывая доверие или не желая потворствовать предрассудкам, Женечка встречает Ханса без парика. Он ежится, он вероятно, связывает Женечкину болезнь с приездом в Страсбург и не может не допустить, разумеется лишь мысленно, толики своей ответственности. Пытает нас, почему же мы отпустили Женечку из дома. Оправдывается, ссылаясь на то, что окончательный выбор из двух предложенных им кандидатур сделал вышестоящий начальник. Спрашивает Женечку, отчего она приехала в Страсбург. Женечка – насмешливо: «За женихами». Шокирует Ханса и этим как будто довольна. После обеда Женечка с Хансом поднимаются к замку. Ханс размашисто шагает, Женечка не без труда поспевает за ним, как будто проходит еще одно испытание.

С утра тридцать первого декабря мы совершили замечательную поездку к далекому прекрасному озеру, подъехали к подножью самой высокой в здешних краях снежной вер-

шины. Новый год Женечка предлагала встретить в местном ресторанчике. Но одолевали сомнения. Приглашение наших хозяев – разделить с ними праздник – развеяли наши сомнения: конечно, по-домашнему лучше, теплее, добрее, уютнее. Для праздничного стола приготовили с Женечкой два вида салата, вместе с хозяевами и другими гостями вкусно ели, улыбались, и верили, верили; надрываясь, преодолеваясь, верили. И в новогодний час поднялись по нашей любимой дороге на гору. Вокруг разливалось шампанское, взлетали петарды, и все небо вспыхивало разноцветными огнями под всеобщее ликование. И отступал наш страх.

Несколько раз мы выходим на люди: идем на рождественскую службу в церковь, на концерт классической музыки в соседнем городе Оффенбурге, на праздничный рождественский вечер в местный спортивный зал. Мы привлекаем взгляды – мы в облаке беды, стараемся закрыться, игнорировать любопытство и вопросы, но нам от этого еще тяжелее. Человеку, по которому проехал танк, верно, нет места среди нормальных людей. Должно быть, все одиноки, но он одинок иначе. Другая степень, другой разворот одиночества, его вынужденность, его монолитность... В таком одиночестве отсутствует примесь естественной природной безмятежности. Ей на смену может прийти или надсадный, себя не помнящий кураж, или беспамятное оцепенение.

Конечно, где-то на горизонте есть еще героизм, героизм одиночек: что бы ни было, я могу. Но как до него дорасти?

* * *

...произнес эти слова... как человек, решивший до конца представить себе размеры постигшей его беды и действовать с открытыми глазами...

Канун отъезда. Мы должны ехать в город и лечь в больницу. Женечке предстоит пройти четвертый курс химиотерапии, на этот раз полный, без скидок на Женечкину особую чувствительность, и мы боимся, да, чего греха таить, боимся.

Шестого января 1998 года Женечка опять ложится в больницу. И, как говаривала потом Женечка, не было в ее больничном пребывании времени горше (сравнивала она, конечно, с предшествующими сроками). Отчего-то лежавшая рядом женщина, старательно вышивавшая затейливую салфетку и с доброй готовностью показывавшая ее желающим, по нашему общему признанию «милейшая» (Женечкино слово), находившая в себе силы опекать Женечку, была источником жесточайших Женечкиных мук. Уже тогда складывалась у Женечки потребность переносить муки в одиночестве, избегая взгляда, пусть даже и добрых, всепонимающих глаз. И всех наших соседок по палатам, породнившихся бедой и болью – участливых, сострадающих, мудрых, мужественных, отрешенных, всех их я хорошо помню. Помню, как хотелось обнять и поблагодарить их за принятую на себя муку. Иногда это удавалось наяву, а когда не смела, то обнимала мысленно. Общность беды разворачивала нас друг к другу пониманием, солидарностью, сочувствием, стойкостью, вызревшими за время болезни.

«Каждым деянием своего духа человек создает поле для некоей новой силы» (Р. М. Рильке). И каждый больной и страдающий мог одарить тебя силой и мудростью, если ты мог этот дар принять, если ты был для этого дара открыт.

Тяжко пришлось Женечке: поднялась температура, многократно случались обмороки, падения при попытках встать с кровати. Однажды мне то ли приснилось, то ли привиделось ночью, что у Женечки оборвалась подходящая к катетеру трубочка, и Женечку залило кровью. Так и случилось в ту ночь.

Однако выписывают нас в изначально намеченный срок, тридцатого января. Женечку выпускают с добрыми напутствиями, нам сулят в будущем только контроль. Ведущий врач

доктор Мульвазель отмалчивается, но зато младший медицинский персонал нас поздравляет; похоже, они искренне верят в выздоровление. Женечка, радостно возбужденная предстоящей выпиской, говорит мне: «А теперь я буду тебя защищать». И позже: «Но ведь придется пройти через это еще раз». «Но, почему же?» – отвергаю я. «Ну, а как же, перед смертью». Это не кажется теперь невероятным, но таким далеким. И в ответ я бормочу, что болезнь побеждена, а смерть ведь бывает всякая и не обязательно такая мучительная. Но Женечка произнесла то, что произнесла, и мое бормотание оставила без внимания.

Как же Женечка умела оберегать, защищать на все лады, и в самом прямом смысле слова тоже. Однажды в прошлой жизни, в Москве, когда мы откуда-то возвращались вечером домой, перед нами внезапно возникла устрашающая фигура. Не успев опомниться, что-то предпринять, я в мгновение ока почувствовала, что Женечка оградила, заслонила меня от чьего-то злого умысла. И зловещая фигура отступила перед Женечиной решимостью.

Женечка немножко растеряна, перед ней простирается ровное безучастное полотно свободного времени, словно минное поле неведомого размера. «Я умею только работать или лежать в больнице», – говорит Женечка.

К выходу из больницы дарим Женечке горящие всеми цветами радуги настольные часы из венецианского стекла с пожеланием «жить по солнечным часам». Они и сейчас не меркнут, светятся, ликуют, что-то толкуют нам, незрячим.

На следующий после выписки день едем в наш сказочный, занесенный снегом Дурбах. Поднимаемся к замку, начинаем выращивать (взрачивать) новую надежду.

Женечке предстоят занятия лечебной физкультурой, но через три недели мы вернемся сюда гулять, любоваться, читать, бездельничать, сладко спать.

Да и город нам сейчас в радость. Бредем по улицам вдоль каналов и чувствуем, признаем: да, вот оно счастье. Темная вода, фонари, свежесть воздуха, воля. Наша совместность, наша нежность. Мы признались друг другу, что думаем одинаково, так даже лучше: переболеть столь тяжело и выздороветь, и жить, ценя всякие маленькие нежные прикосновения жизни.

Как-то раз Женинька впервые поднимается по узенькой винтовой лестнице на вершину кафедрального собора, радуется открывшемуся ей городу и самой радости.

В это время Женя пишет в Ленинград своей подруге Оле:

Ольга, привет. Очень рада получить от тебя письмо. В моем ответе ты найдешь множество ошибок, так как я полгода ничего не писала, и все книжки читались мамой и папой вслух. Сейчас учусь ходить по городу, глядя не под ноги, а по сторонам. Я вышла из больницы две недели назад, и приблизительно через неделю собираемся поехать за город в надежде несколько протрезветь. По возвращении, через месяц^{два} будет более актуален адрес электронной почты, поскольку к тому времени я, вероятно, выйду на работу. Сейчас очень трудно преодолеть мое плачевное душевное состояние, так как каждый день приходится ездить в ту же больницу заниматься физкультурой.

Три недели лечебной физкультуры. Ведущий занятия врач пытается нас приободрить. «Улыбайтесь, – призывает он нас, действительно разучившихся улыбаться, – перед вами широкие горизонты». А нам грезится наш Дурбах.

* * *

Пусть его потом изгнали из рая, но разве он загодя не был вознагражден за свою потерю?

Михаил Булгаков. Мастер и Маргарита

Двадцать первого февраля мы наконец-то опять в Дурбахе. Мы живем поначалу в том же домике в долине, окруженной холмами, поросшими виноградниками и лесами. Каждый день мы поднимаемся к замку, частенько ходим к хутору. Замок был виден и из наших окон, царил, звал, менял очертания, омывался дождями, нарождался из-под туманов. Он был сном, вымыслом, но и явью, иносказанием яви. При виде замка сам собой возникал вопрос: «Кто в замке король?» И однажды местная повелительница – как иначе сказать – предложила нам переехать в дом при замке. Наше смятение, радость и неверие в подобное чудо излились в смехе, мы изнемогали от смеха, мы пританцовывали. Господи, не дай мне забыть этот миг. Быть может, то было средоточием, сердцевиной жизни, чем-то истинно и единственно сбывшимся. Но переезд еще впереди. Пока же, до апреля, мы остаемся в нашем уютном домике.

Женечка пребывает в приподнятом настроении, в готовности любоваться и благоговеть перед жизнью. Наша бесконечная нежность. «Пойдем потолкаемся», – так это называлось. Мы обнимались так крепко, как только могли. Женечка обнимала меня тесно, нежно, сухими, как хворост, чистыми объятиями маленького ребенка.

– Мамсичик-к-к-к, – звала меня Женечка.

– Женюлюшечик-к-к-к, – отзывалась я.

– Я не знаю, что будет завтра, но сегодня я держу руку на твоей голове и счастлива, – говорила Женечка.

Каждый раз, когда мой взгляд заново открывал Женечку, я заходила от нежности: рождающаяся каждый миг головка, облик мудрейшей из новорожденных. Любимая, любимая, любимая.

Женечка читает «Иосифа и его братьев», а я радуюсь на нее, мирно читающую. Сопоставляет себя с Иосифом, из сопоставления выходит, что в «яме» придется побывать дважды. Часто зачитывает мне какие-то фрагменты. И с каждым днем как будто здоровеет, свежеет, наливается жизненными соками, начинает весело с удовольствием бегать. Личико округляется, на нем проступает румянец. Однажды Женечка неотрывно с восторгом в течении целого дня наблюдает, то сидя, то стоя у окна, за расшалившимися в винограднике зайцами. Она не стремится на улицу, ей достаточно видеть их из комнаты. Заливается смехом, постоянно зовет меня и захлеб делится рассказами об их проделках, а потом по-детски сообщает мне: «Они делают зайчат». Неисчерпаемость, длительность этой радости сродни вырвавшейся на свободу боли.

Грядет переезд в дом на замковом холме. Обустройством новой квартиры занялась Женечка вместе с отцом, а я по обыкновению переживала разлуку с милым сердцу жильем, которое мы покидали. То была непростая квартира, холодная, накопившая одиночество, но запредельные виды из окон заполняли и возносили в воздух это жилище. И стояло в пустой квартире одинокое, печальное, ветхое и прекрасное кресло-качалка с плетеной спинкой и сидением из кожаных заплаток.

И вот Женечка сотворила, обустроила и наполнила, прежде всего собой, своим духом, еще одну квартиру. Из замка нам достались стол и стулья из благородного темного дерева. Из окрестных деревень Женечка с отцом привезли кровати. Переезжающие соседи подарили нам диван и кресла. С размахом и азартом мы накупили всякой домашней утвари. И стали

поживать, трудно осваивая новое жилье, восторженно – открывшиеся нам новые лесные дороги.

Когда мы поселились на замковом холме, нас стали привлекать прогулки в долине. Именно тогда мы набрали на дорожку, тянущуюся вдоль быстрой горной речушки среди цветущих в ту пору фруктовых садов. За изгородью деловито сновали пестрые куры. И вспомнилась как-то раз любимая Женечкой в детстве сказка про Алешу и Черную Курицу. С удовольствием рассказали ее друг другу, кто что помнил. Кроткие мостики переводили нас с одного берега на другой, что мы и делали послушно, с радостью, и отрада простоты и легкости была в такой прогулке. Дорожка приводила нас к спрятавшейся в укромном месте гостинице, окруженной искусно разбитым садом. Крепко сбита, надежная, казалось, она будет здесь стоять вечно. И опять подавала голос надежда, неистребимая надежда убежать от тревоги, укрыться от самих себя хотя бы в этом, задуманном на века доме. Однажды на такой прогулке нас застает ливень. Поначалу дождю радуемся, он шумный, живой, приобщающий нас к миру. Сначала пережидаем его под навесом, но начинаем зябнуть и забегаем в кондитерскую Мюллера, но денег с собой нет и расположиться в тепле и уюте мы не можем.

Раздумываем, не одолжить ли зонтик, но не решаемся. Бежим на свой холм под дождем, озорничаем, пряча тревогу, не простудится ли Женечка. На этот раз обошлось, добрый дождь нас омыл.

Неукоснительно, с заданной частотой, Женечка сдавала анализы крови. Напряжение не отпускало нас, и все-таки сколь могли, мы пытались освободиться от страха, обрести почву под ногами. Однажды, вернувшись с консультации, с безнадежно-горьким лицом Женечка произносит:

– Доктор Мюльвазель не знает, будет у меня рецидив или нет.

Я еще немного смелая:

– Он не знает, зато мы знаем. Ты здорова, Женечка.

Нам казалось тогда, что залог выздоровления только в нашей вере в успех, только в ней, и мы гнали все звучавшие внутри нас и извне призывы не успокаиваться, консультироваться, продолжать лечиться. Встреча с новым врачом, оценка им Женечкиного состояния, прогнозы, предложения – все это грозило нарушить наше неустойчивое равновесие. Ведь мы изнемогли от страха, от мук лечения, хотелось просто жить.

Женечке предстояло еще сдать костный мозг для сохранения его на случай возможного рецидива. Это была обычная плановая процедура, о которой нам сообщили при выписке из больницы, но отчего-то Женечкиному отцу пришлось приложить усилия для ее осуществления: искать соответствующего врача-трансплантолога, напоминать ему о его же предписании, обговаривать с ним сроки. Врач предложил тогда постепенный набор необходимого количества костного мозга – ежедневно понемногу, в течение нескольких дней. Но что-то у него не получилось с установкой катетера, и у Женечки образовалась на этом месте огромная болезненная гематома. К ночи охваченные тревогой мы были вынуждены ехать в больницу – делать перевязку, а процедуру взятия костного мозга врачу пришлось заменить на одноразовую под общим наркозом. И еще два дня в конце апреля Женечка провела в больнице.

В начале мая, обсуждая с лечащим врачом свое состояние, Женечка интересуется его мнением о возможности ее выхода на работу. «Что же, может, так оно и лучше», – соглашается врач.

* * *

Виноградную косточку в теплую землю зарю,

и лозу поцелую, и спелые гроздья сорву...

Булат Окуджава

Десятого мая мы поздравляем друг друга с победой, поднимаем бокалы за победу. Одиннадцатого мая Женечка выходит на работу, пока что на полставки. В будние дни я поджидаю Женечку дома, сначала на обед, потом вечером после работы. Полставки для Женечки – просто удлиненный обеденный перерыв, когда после обеда Женечка может себе позволить полежать, подремать, расслабиться. В те дни я не могу нарадоваться на Женечкину расцветающую красу постоянно вспыхивающий смех, озорную ребячливость, еще не покинувшую ее безмятежность. Хотя и тогда случались бури. На работе у Женечки за спиной появляются какие-то фигуры. Кто эти люди? Делят ли они с Женечкой работу или подстраховывают ее? Отчего никто не ставит Женечку в известность? И Женечка с ее прямоотой идет напролом.

Без дипломатического реверанса осведомляется у Ханса, каковы ее служебные обязанности, отчего Ханс не знакомит Женечку с новыми сотрудниками и какова его общая стратегия. «Ждете моей смерти», – домысливает Женечка.

Ханс шокирован – этому кругу прямоота незнакома. Он пытается успокоить Женечку даже приласкать, как ребенка, разъяснить свои умалчивания, загладить промах. Отчасти ему это удается. В тот день мы ждем Женечку у работы, собираясь отправиться в Дурбах. С задирстым видом появляется Женечка, смущенно улыбаясь, взбудораженная своей «озорной» выходкой, довольная разрешением беспокоившей ее ситуации.

В июле в Страсбурге проходит музыкальный фестиваль. Прошлым летом оркестром дирижировал сам Менухин, и мы имели счастье слушать Мастера.

Этим летом фестиваль носит имя Мастера, Менухин умер. Мы идем слушать Растроповича, его виолончель, ее печальный завораживающий (чарующий) голос, пестующий нашу нежность, наше окаянство.

В ту пору восторгом, чудом был Дурбах, особенно при встрече с ним по пятницам или при прощании по понедельникам: встречный взгляд, прощальный взгляд. Дорога в Дурбах шла через фруктовые сады, справа открывался вид на наш холм и неясные очертания замка. Сады ворожили и пели. Подъем на холм, всегда неожиданно открывающиеся взору гряды волнистых холмов, поросших лесом, и чаши, укрытые виноградниками. Спуск с замкового холма – чудо немеркнувшей, вечно новой красоты, зачастую под пение любимого Женечкой Фрэнка Синатры. Это пение противоречило тональности нестерпимого в своей красоте пейзажа и вместе с тем сглаживало его нестерпимость, делало его более близким, доступным.

Я так часто говорю о дурбахской красоте, так часто мысленно совершаю паломничество в тот край: там наш последний – в неведении своей участи – поклон земной красоте. Именно там, под одной из сосен, зарыт клад с ответами на гложущие, терзающие, разрывающие вопросы. Дурбах, его красота – последний бесценный Женечкин подарок; здесь воплотившаяся на земле Женечкина сущность, ее дыхание, приволье ее души, полет ее духа, ее бессмертие.

И Женечкин день рождения мы отмечаем на веранде дурбахского замка. Мы дарим Женечке фотоаппарат. Накануне в Дурбах приезжала воодушевленная и воодушевляющая Энн с подругой. Она подарила Женечке книгу Гибрана «Пророк», написав так: «Евгении, с первым днем рождения в ее новой жизни».

Новым фотоаппаратом Женечка сделала три серии снимков. Запечатлела в одинокой прогулке в сторону часовенки картины Дурбаха, восхищавшие Женечку прячущейся и зовущей открыть себя красотой. Другая серия – фотографии городов, по которым мы ездили «галопом по Европам», воодушевляемые и побуждаемые Женечкой. Брюгге, Фрайбург, Берн, Цюрих, Базель. И фотопортреты родных. К этим снимкам, помнится, Женечка и мы все долго готовились, «мыли шею», выстраивали задуманные Женечкой композиции.

Женечка для пущей выразительности сделала мне легкий макияж. И вправду, хорошие получились фотографии самой Женечки, отца, гостившей у нас в ту пору ее тети Лоры – портреты групповые и каждого из нас. Во мне, быть может, впервые, проглянула мамина красота – так Женечка нас с мамой объединила своей любовью.

Цвели каштаны, сирень, жасмин, шиповник, по-особому родственные полевые цветы. Наливалась соком виноградная лоза. Нас радовали белки, зайцы, косули, птицы. В нашей жизни было мало людей и очень много птиц – стремительных, неторопливых, застенчивых, красующихся, деловитых, величественных, юрких. Особенно пристальны мы были к уже знакомым, к тем, которых знали по именам.

Мы не прочь были познакомиться и с другими: листали подаренный Энн определитель птиц, но сведений не извлекали, по-детски рассматривали красочные картинки. В Дурбахе то были парящие высоко над холмами ястребы, голосистые звонкие дрозды, стрижи и ласточки, чьи гнезда располагались над нашими окнами, таинственные совы, бесцеремонные вороны, яркие дятлы. Особое нежное внимание и благодарность вызывали дрозды (дроздики, как называла их Женечка) за их открытость, веселую песню, ненавязчивое доброе присутствие. Они не улетали от нас, были рядом. По вечерам мы крались к соседнему дому и караулили сову, что с уханьем прилетала к своим птенцам. В памяти осталось темнеющее небо, тонкий, словно нарисованный месяц и обращенный к нам удивленный взгляд совы.

Нет, души совсем не отличны от птиц,
Когда говорят друг с другом,
И птицы, когда говорят,
Ничем не отличны от душ.
Там, где людям нужно
Великое множество слов,
Птицам хватает лишь нескольких звуков
Разных только по устремленности,
Разных только по силе.

Г. Экелеф

Наши прогулки удлинились, мы открывали новые и новые прекрасные виды.

Мы бредем по знакомой лесной тропинке, ведущей к замку, а вокруг так много других, зовущих. Они вьются, манят развилками, словно ветви деревьев. Их близость, их сопричастность нам, их желание быть внятными и наша благодарная растерянность перед их манящей, убегающей вдаль ветвистостью. Началась грибная пора, пошли все больше лисички, маслята и маховики. Женечка с азартом карабкалась по лесистым склонам вдоль дороги, срезала грибы осторожно, стараясь не повредить грибницу. Дома отбирала и чистила с особым старанием, да и ела с явным удовольствием. И новое чудо: поспела черешня в невиданном изобилии, ее можно рвать и лакомиться сколько душе угодно. В то лето я загадала пережить еще один урожай черешни, а больше, следующим летом, уже не загадывала, не могла – ужас перечеркивал видение будущего.

Мы постоянно искали радугу, видя в ней знак спасения. Прошел дождь, выглянуло солнце, мы ждем, и вот она – радуга через все небо. Мы протягиваем к ней руки, радуемся.

Женечка нередко ходит гулять в лес одна. И неожиданно горько и лукаво объясняет: «Я хожу по лесу и разговариваю, мне ведь, так же как и тебе, не хватает разговоров».

Внизу в Дурбахе живет большая семья русских немцев. Валя и Витя, их дети – Ваня и Саша, и Витины родители – пенсионеры Иван Алексеевич и Татьяна Егоровна. Хрупкая и кроткая Валя работает в цветочном магазине в Дурбахе, деликатный Витя – рабочим

на стройке. Бабушка и дедушка хлопчут по дому. Женечка и отец познакомились с ними раньше, уже бывали в гостях.

Вскоре они через нашего соседа Мартина по телефону приглашают нас на воскресный обед, и мы охотно идем. У них большая квартира, большая кухня, по-домашнему уютно. Нас гостеприимно потчуют разносолами, пельменями. Женечка открыта, с удовольствием разговаривает со всеми, особенно с младшим мальчиком, улыбчивым Ваней. Старший выглядел солидно и безразлично, наверное, его тянуло на улицу играть в футбол, а младшему скучно не было, ему все было забавно: и с нами разговаривать, и с братом перепихиваться, и отцу улыбаться. Женщины показывают нам свой аккуратный огород, где взошло все, что посажено, а мужчины – видеозапись: их пустое село в Казахстане, оставленный дом. Витя все осведомляется, не скучно ли нам смотреть, не надоело ли. Нам понятна, близка их боль. Женечка долго не может прийти в себя от этой будто бы чужой, а оказывается, общей боли. В другой раз Валя и Витя с мальчиками приезжают к нам наверх проведать: «Что-то вас давно не видно». Сидим в большой комнате, мальчики едят кекс, с интересом поглядывают на компьютер. Нам приятно их внимание, нам хорошо с ними. К сожалению, семья эта скоро переезжает в Оффенбург. Женечка размышляет, не снять ли их большую квартиру, где стоек человеческий дух, и не поселиться ли окончательно в Дурбахе.

Окрепнув, Женечка начинает бегать по лесным дорогам, играть в теннис с отцом и Энн, берет несколько уроков тенниса и пишет по этому поводу подруге Наташе:

У меня с прошлой пятницы появился потрясающий – рыжий и веснушчатый, что немаловажно – тренер в Дурбахе, в результате чего мое теннисное усердие уже почти неделю как удвоилось.

Изредка ходим в бассейн. Бродим по лесным дорогам, напевая «Виноградную косточку в теплую землю зарю...» или «Ты у меня одна». Эту песенку Визбора Женечка учит меня петь на два голоса.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.